

*Богданова Ольга Владимировна,
Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена
доктор филол. н., проф.
ORCID 0000-0001-6007-7657*

*Власова Елизавета Алексеевна
Российская национальная библиотека
ORCID: 0000-0001-5781-7466*

КОНСТАНТЫ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕКСТА» В ПОЭМЕ И. БРОДСКОГО «ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ»¹

Аннотация. В статье прослежены константы «петербургского текста» на материале поэмы И. Бродского «Горбунов и Горчаков», установлены интертекстуальные связи (Шекспир, Гете, Данте, А. Чехов, Л. Андреев, М. Булгаков и др.), дифференцированы сопоставления со священными текстами Ветхого и Нового заветов. Выявляется скрытый ученический (апостольский) сюжет и, как следствие, предлагается иная, чем традиционно принята в бродсковедении, расстановка персонажей: герои Горбунов и Горчаков рассматриваются не как оппоненты-антиподы, но как герои тесно связанные, в частности, отношениями учителя и ученика. Трехчастная (условная) композиция поэмы, ориентированная на три дня и три ночи, изображенные в тексте, своей символической троичностью акцентирует поступательность апостольского пути Горчакова и подчеркивает его особую роль в судьбе Горбунова (вслед за Л. Андреевым, не Иуды предателя, но Иуды ученика). Внутренний «ученический» пласт поэмы позволяет Бродскому перейти к архетипическому сюжету, метафоризируя детали и символизируя ситуации, переводя их на более высокий уровень, насыщая емким философско-поэтическим смыслом. В работе показано, что Бродский существенно углубляет представления о традиционном «петербургском тексте», насыщая его бытийными слагаемыми.

Ключевые слова: «петербургский текст», И. А. Бродский, «Горбунов и Горчаков», интертекст, образная система, евангелический сюжет.

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда № 22-28-01671, <https://rscf.ru/project/22-28-01671/>; Русская христианская гуманитарная академия.

Bogdanova Olga Vladimirovna,
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University, Doctor of Philology,
Prof. ORCID 0000-0001-6007-7657

Vlasova Elizaveta Alekseevna,
Russian National Library
ORCID: 0000-0001-5781-7466

CONSTANTS OF THE “PETERSBURG TEXT” IN I. BRODSKY’S POEM “GORBUNOV AND GORCHAKOV”

Annotation. The article traces the constants of the “Petersburg text” based on the material of I. Brodsky’s poem “Gorbunov and Gorchakov”, establishes intertextual connections (Shakespeare, Goethe, Dante, A. Chekhov, L. Andreev, M. Bulgakov, etc.), differentiates comparisons with sacred texts of the Old and New Testaments. The hidden student (apostolic) plot is revealed and, as a result, a different arrangement of characters is proposed than is traditionally accepted in Russian studies: the heroes of Gorbunov and Gorchakov are considered not as opponents-antipodes, but as heroes closely connected, in particular, by the relationship of teacher and student. The three-part (conditional) composition of the poem, focused on the three days and three nights depicted in the text, with its symbolic trinity accentuates the progressive apostolic path of Gorchakov and emphasizes his special role in the fate of Gorbunov (following L. Andreev, not Judas the traitor, but Judas the disciple). The inner “student” layer of the poem allows Brodsky to move to the archetypal plot, metaphorizing details and symbolizing situations, transferring them to a higher level, saturating them with a capacious philosophical and poetic meaning. The paper shows that Brodsky significantly deepens the understanding of the traditional “Petersburg text”, saturating it with existential terms.

Keywords: “Petersburg text”, I. Brodsky, “Gorbunov and Gorchakov”, intertext, figurative system, evangelical plot.

Понятие «локального текста», разработанное в трудах классиков отечественного литературоведения Н. П. Анциферова [1], Ю. М. Лотмана [16], В. Н. Топорова [25], послужило толчком к обширной сфере работ, связанных с различными «именными» локальными текстами русской литературы. «Петербургский текст» среди них занимает отчетливо лидирующую позицию, по-

скольку именно он стал истоком научной рефлексии в этом направлении, задал конститутивные черты философии «именного» текста. «Петербургский текст», глубоко проанализированный в работах ученых-культурологов и специалистов-филологов [1, 3–4, 9, 17, 18, 24, 25], породил в науке сложную систему аксиологических доминант (признаков и примет) локального текста, подсказал черты дифференциации образных кодов и номинации основных семантических характеристик, смыслового несовпадения текста «столичного» (петербургского, московского) и «провинциального» (сибирского, северного, волжского, крымского и др.), их репрезентативных доминант.

По Н. Анциферову и В. Топорову, «петербургский текст» обладает некой автономностью, набором собственных семантически значимых констант, которые позволяют эксплицировать эти символические коды [см.: 1, 25], и на этом основании констатировать принадлежность произведения к «петербургскому» пласту семиосферы национальной культуры. Известно, что одним из доминантных мотивов-репрезентантов синтагматики «петербургского текста» стал мотив безумия, сумасшествия, умопомрачения, заданный еще литературой XIX века (А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский) и развитый в начале XX столетия (Д. Мережковский, А. Блок, А. Белый, Н. Гумилев, О. Мандельштам и др.). В «петербургском тексте» именно безумие (чаще всего) становится центральным предметом поэтической семантизации, наиболее репрезентативным элементом локального знания, собственно процесса текстопорождения.

В этом смысле поэма Иосифа Бродского «Горбунов и Горчаков» (1965–1968), сложная для бытового восприятия, эксплицирует свои бытийные глубины именно в пространстве «петербургского текста», позволяя эксплицировать потаенные смыслы поэтических представлений автора. «Образ места», который избирает Бродский, – сумасшедший дом – и центральные герои – пациенты психбольницы – аргументы допускают предположение о принадлежности поэмы к локальному «петербургскому» тексту с его знаковыми пространственно-временными и этнокультурными характеристиками-кодами. «Петербургский метатекст», сфор-

мированный произведениями Пушкина, Гоголя, Достоевского, Блока, усиливает потенциал поэтических размышлений Бродского, углубляет философские потенции поэмы. В свою очередь Бродский серьезно раздвигает границы традиционного «петербургского текста», привнося в него новые конститутивные черты и приметы.

Поэма «Горбунов и Горчаков», по словам поэта, занимает «исключительно серьезное» [см.: 8, с. 318] место в его поэтическом творчестве. В том числе и поэтому поэма получила широкий отклик в критике, к тексту поэмы обращались известные исследователи – К. Проффер [22], Л. Лосев [15], Я. Гордин [10], В. Полухина [20–21], В. Куллэ [14], И. Плеханова [19], Д. Ахапкин [2], Р. Клейман [13], Р. Джулиани [11], И. Романова [23], М. Гельфонд [9], А. Карасева [12], Ян Сяоди [28] и мн. др. Между тем поэма необычайно сложна. К. Проффер отмечал: «“Горбунов и Горчаков” производит впечатление запутанной поэмы. Не во всех случаях удастся отличать голос Горбунова от голоса Горчакова. Темы даются фрагментарно. Идеи обсуждаются, отвергаются, затем возникают снова – и так по несколько раз. Каждая тема имеет множество вариаций <...>» [22, с. 135].

Первое, на что обратила внимание критика, была форма поэмы – ее диалогическое выстраивание, которое одними связывалось с именем Платона и его «Диалогами» [22, с. 138], другими – на основе приема интериоризации, с абсурдистской поэтикой Беккета [20, с. 76] или экзистенциальным ужасом Фроста [15, с. 144]. Развивая мысль о характере выстраивания диалогического текста, Л. Лосев высказал предположение, что диалог героев Бродского, Горбунова и Горчакова, по сути представляет собой монолог центрального героя, Горбунова, становясь свидетельством раздвоения личности персонажа, опосредованного либо «патологией» и «шизофренией» [22, с. 137], либо художественной «персонификацией» [15, с. 142].

В. Полухина была в числе первых исследователей, кто применительно к поэме Бродского эксплицировал проблему двойничества/двойника. По ее словам, в «Горбунове и Горчакове» «мы явно имеем дело с ситуацией “я” vs. двойник в чистом виде» [20, с. 76],

иначе – герои Бродского неразлучны как «два тела в одной душе» [20, с. 75]. По Полухиной, именно раздвоение личности центрального персонажа послужило «структурообразующим элементом всей поэмы» [20, с. 76].

Между тем, размышляя о системе персонажей поэмы «Горбунов и Горчаков» и, как следствие, о ее идейном наполнении, на наш взгляд, убедительнее исходить из присутствия *двух* центральных героев – Горбунова и Горчакова, а не раздвоенной личности одного персонажа. Тем более, что, по свидетельству К. Проффера, на вопрос о персонажной системе поэмы Бродский решительно отвечал: «...нет, их двое и их нужно различать» [22, с. 137].

Как правило, героев Горбунова и Горчакова современные исследователи дифференцируют по принципу «рациональное – эмоциональное», «прозаическое – поэтическое». Причем, например, Л. Лосев признает «прозаической» фамилию Горбунова и «поэтической» (почти пушкинской) фамилию Горчакова [15, с. 142]. Кажется, принять подобную точку зрения можно (именно она доминирует в современном бродсковедении), однако на это положение можно взглянуть с иной стороны.

Прежде всего фамилия Горбунов, имеющая в праоснове лексему-образ «горбун», не столь прозаична, как может показаться. Известно, что в русском и мировом фольклоре образ горбуна достаточно емко и наделен глубинными поэтическими коннотациями. С одной стороны, с древних времен горбатость означала принадлежность к «чужому», нечистому, демоническому миру, располагающемуся под горой, и потому уродство горбуна пугало и отталкивало людей. Но, с другой стороны, горб на спине фольклорного/литературного героя нередко оказывался до поры сложенными за плечами крыльями. Ближайший пример такого прочтения образа горбуна хорошо известен по кинокартине «Ленфильма» 1960-х годов «Город мастеров» (киносценарий Н. Эрдмана и Т. Габбе), шире – это и образ сказочного Конька-Горбунка, и добрый горбун Квазимодо из «Собора Парижской богоматери», и фантастическая проза Г. Уэллса (напр., «Чудесное посещение»), и мн. др.

Что касается фамилии Горчаков, то исследователи актуализировали в ней прежде всего поэтическое «пушкинское» начало. Однако, как известно, пушкинский однокашник лицеист Александр Горчаков, по выпуске из Лицея служивший по дипломатической части и достигший на этом поприще больших высот, слыл одним из самых рациональных и сдержанных приятелей пушкинского круга. Одно только то, что в списке выпускников лицея Горчаков находился на 1-й позиции, уводит его далеко от Пушкина, бывшего в конце лицейского выпускного рейтинга. Глубоко (само)образованный Бродский не мог не учитывать этих фактов, потому приписывать «говорящую» функцию фамилиям героев вряд ли актуально.

Действие поэмы охватывает три дня, согласно которым поэтапное развитие фабулы можно условно разделить на три (неконтурированные) части. Открывает поэму «Горбунов и Горчаков» одноименная часть, в которой звучит первая характеристика центрального персонажа, пациента психбольницы Горбунова: «Ну что тебе приснилось, Горбунов?» / «Да, собственно, лисички». / «Снова?» «Снова» [6, с. 252].

В сильной сюжетной позиции (начало повествования) внимание привлекают два обстоятельства: пристальный интерес героев к снам («Снова?» «Снова») и повторяющийся в снах Горбунова образ грибов-лисичек. Как известно, в системе народных представлений грибы (образ, мотивы, символика) занимают особое положение и предстают неким элементом архаического культурного кода. В фольклоре грибы всегда воспринимались как некие аморфные сущности, занимающие промежуточное положение между растениями и животными. Наряду с многообразными свойствами грибов, эксплуатируемыми человеком, в народной традиции грибы прочно связаны и со сферой проявления сексуальности, в их внешнем облике отчетливо проступает эротическая символика [26, с. 234–297]. Герои Бродского, обитатели больничной палаты, знают о символической образности грибов и напрямую связывают навязчивые горбуновские видения о лисичках с любовной драмой героя-пациента. «...ты гредишь о лисичках?» «Постоянно». / «Вернее, о любви?» «Ну все равно...» [6, с. 256]. Однако

наделенный поэтическим воображением Горбунов умеет сопоставить островки грибов-лисичек и с островами устья Невы, грибницу – с проспектами и улицами, вид грибов-островков в конечном счете с речью, с чередованием слов и молчания. Герой разворачивает емкую метафору, близкую Бродскому-поэту.

Диспозиция героев в первой части/главе выводит на интертекстуальную параллель к Шекспиру. Подобно тому, как в трагедии о Принце Датском рядом с трагическим философом Гамлетом оказываются недалекие и пустые доносчики-стражи Розенкранц и Гильденстерн, так и рядом с мыслящим и философствующим Горбуновым располагается простак и сексот Горчаков. Вся атмосфера первой главы поэмы заставляет вспомнить встречу Гамлета с Розенкранцем и Гильденстерном, в том числе в связи с размышлениями шекспировских героев о сне, с рассуждениями о мире-тюремь и относительности пространства (Гамлет: «О, боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности...» [27, с. 103]), о честолубии, об истине, дружбе и проч. Мотив мнимого безумия шекспировского героя обретает характер подтекстового *backgrounda*, позволяя интертекстуально маркировать тип центрального героя Бродского, современного «безумствующего» Гамлета («Ты спятил, Горбунов!» [6, с. 253]), задающегося вечными вопросами, в числе которых инвариантный гамлетовский – «Быть или не быть?..»

Однако в отличие от шекспировских Розенкранца и Гильденстерна у Бродского Горчаков не просто доносчик и шпион, но в значительной мере и союзник Горбунова. Именно это принципиально важно для понимания поэмы Бродского. Никто из исследователей не обратил внимание на то существенно важное обстоятельство, что Горчаков «доносит» на Горбунова особым образом: он не говорит всей правды, точнее – говорит не-правду, преимущественно «докладывает» о том, о чем хотят слышать врачи психбольницы. Пожалуй, единственной «горбуновской» деталью из доноса Горчакова оказывается упоминание лисичек. Но и странный сон сопалатника преподносится врачам «с креном»: в передаче Горчакова, Горбунов – «сторонник непартийных <...> воззрений...» [6, с. 260]. В какой-то момент Горчаков начинает

было говорить о чем-то важном – о «худом человеке», о «пустыне», об «Азии», о «колодце» [6, с. 261], но его рассказ скоро (и вдруг) становится сбивчивым, перемежается паузами, прием умолчания свидетельствует о раздумьях героя, и Горчаков затихает. Потому глава «Горчаков и врачи» заканчивается странной для героя-сексота репликой: «О ужас, я же истины ни слова...» [6, с. 262].

В ходе разговора с врачами Горчаков осознает влияние на него Горбунова. Еще недавно браво играющий роль Мефистофеля рядом с Фаустом [6, с. 254], теперь Горчаков окунается в иную интертекстуальную стихию – библейскую, ветхозаветную (Моисей) и новозаветную (Иисус). Несколько ранее, в первой части, промелькнувший образ рыбака («ты одни из рыбаков» [6, с. 254]) теперь обретает отсветы евангелической Галилеи, чуда, свершившегося на Галилейском море, и – главное – притчи Иисуса о «ловцах человеков». Причем пробуждает эту аллюзию Бродский мастерски. Вслед за упоминанием рыбалки («ты одни из рыбаков») и непосредственно перед названием созвездия Рыбы («и Рыбы водворяются» [6, с. 254]) Горчаков иронически и, кажется, случайно именуется Горбунова Галилеем («Смотрю, в тебе замашки Галилея» [6, с. 254]). Но, ставя имя ученого в родительный падеж (кого? – Галилея) и погружая его в атмосферу рыбалки и Р(р)ыб, Бродский сознательно ориентирует реципиента на единственно верную ассоциацию – Галилея (им. пад.) – заставляет вспомнить библейскую историю «ловцов человеков». Происходит смена перспективы. Библейско-галилейское с(С)лово «И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (*Мтф. 4: 19*) порождает аллюзию к духовному ученичеству. Парадигма противостояния героев-антиподов (эксплицированная в пределах первой части) сменяется парадигмой дружества и – что еще важнее – ученичества.

Библейские мотивы осторожно, но прочно внедряются в текст поэмы, придавая диалогу персонажей двойственные и тройственные глубины-смыслы. Аллюзийный фон поэмы не устойчив, но многолик – Гамлет / король, Фауст / Мефистофель, Моисей / еврей, Иисус / ученики, Мастер / Бездомный (даже Евгений из

«Медного всадника» А. Пушкина) и мн. др. Образные коды «петербургского текста» проступают ощутимо и узнаваемо.

Глава «Горчаков в ночи» (внутренний монолог героя-ученика) – знак второго (условного) этапа ученичества героя – начинается с пушкинской восприимчивой аллюзии «Из искры возгорится пламя...»: «О Горбунов! от слов твоих в затылке, / воспламеняясь, кровь моя бурлит – / от этой искры, брошенной в опилки!» [6, с. 270], а текст самой главы уже явственнее ориентирован на тему Ученика и Учителя (в широком библейском и в более узком, например, булгаковском изводе). Внутренний ночной монолог Горчакова отмечен ощутимыми трансформациями: «Я сам уже в глазах своих расту...» [6, с. 271], и маркером «роста» становится меняющееся отношение персонажа (например) к звезде, признаваемое им ее воздействие: «Я чувствую во внутренностях жженье, / взирая на далекую звезду» [6, с. 271].

Значительная часть внутреннего ночного монолога Горчакова выстроена Бродским так, что она отчетливо представляет собой повторения тех суждений, которые прежде уже были высказаны Горбуновым. Герою Горчакову самому «странно в это вдумываться снова...», т.е. «снова» вслед за мыслями Горбунова. Ученическая ипостась Горчакова вырисовывается от повтора к повтору, от с(С)лова к с(С)лову и, наконец, рождает в персонаже-ученике осознание: «Ты, Горбунов, мой высший судья!» [6, с. 271], персонаж угадывает (признает) в себе ученическую сущность.

Свидетельством преображения «вещного» и приземленного героя становятся мелкие (малозаметные) детали. Горчакова-ученика впервые посещает мысль о возможности открытия *форточек* («О если бы медбрат открыл ее!..» [6, с. 271]). В нем зарождается догадка о масштабе личности Горбунова («Увы, тебе масштабы эти мелки!» [6, с. 272]). Появляется «вещное» (не «вещное») предвидение грядущих мук учителя-сопалатника: «Грядет твое мучение!..» [6, с. 272].

В контексте высокого (апостольского) ученичества Горчаков доходит до мысли уже не о доносе, но об осознании и переживании собственной предначертанной ему трагической роли – роли «предателя»: «Как эхо, продолжающее звуки, / стремясь их от

забвения спасти, / люблю и предаю тебя на муки» [6, с. 272]. Горчаков из доносителя (стражника, надсмотрщика, центуриона) трансформируется в Иуду. Но роль Иуды (миссия) воспринимается Бродским и интерпретируется в поэме не-канонически, не-ортодоксально. Иуда видится Бродским не как предатель, но как последователь, в тексте поэмы – как эхо [6, с. 272]. И в подобной интерпретации Бродский наследует (и развивает) точку зрения Л. Андреева, получившую отражение в повести «Иуда Искариот» (1907).

Бродский не придает образу и поведению Горчакова черт осознанности и намеренности (особенно в ситуации ночной драки), однако андреевское понимание Иудой собственной роли доступно (хотя бы отчасти) и предателю Горчакову – «люблю и *предаю тебя на муки*». Герой если не вполне осознает, то во всяком случае угадывает свою роль – потому финальное убийство на сюжетном уровне носит у Бродского характер случайности.

Мотив ученичества получает продолжение и развитие в X главе, где происходит «Разговор на крыльце», звучащий полилогом голосов, внешне (почти) неатрибутируемых. Сама локализация разговора персонажей «на крыльце», где не могли бы находиться герои-больные, позволяет предположить, что «Разговор на крыльце» ведут врачи, наблюдающие пациентов-сумасшедших. Однако, скорее всего, «сюжетно» врачи (или санитары) у Бродского оказываются на крыльце, чтобы услышать (подслушать) разговор, который доносится сверху – из окна. Не названные по именам Горбунов и Горчаков в X главе продолжают начатый в V главе разговор о великом (и священном) диктате языка. Примечательно, что, если ранее Горбунов в одиночестве стоял у окна, то теперь в X главе *оба* героя, беседуя, взирают на больничный двор. Каждая строка беседы представляет собой цельное предложение. При этом фразы, могущие быть синтаксически цельными, разбиты на синтагмы. Если один из беседующих у окна произносит: «Стоит огромный сумасшедший дом», то другой словно бы отвечает и предлагает собственный сравнительный оборот-продолжение: «Как вакуум внутри миропорядка» [6, с. 276]. Правом голоса-размышления наделяется (бывший) герой-простак.

Сближение персонажей опознаваемо со стороны. Происходившее постепенно, поэтапно, день за днем, точнее – три утра и три вечера («И был вечер, и было утро...»), теперь, на третью ночь, «после нуля», оно обретает очевидный и символический (библейский) оттенок. Если первый день пронизан сомнениями и иронией Горчакова в отношении Горбунова, если второй – свидетельство видимого духовного сближения героев, то третий – экспликация доверия, возникшего между учителем и учеником. Троекратность и повтор (в т.ч. образа сна-лисичек) композиционно смыкают «начала и концы», повествование обретает характер композиционного кольца, актуализирующего коннотации библейского Уробороса, проецируя итоговое представление о вечности и бесконечности. Магическая цифра «3» опосредует динамику отношений героев Бродского. Третий день, точнее третья (символически последняя и *последующая*) ночь Горбунова и Горчакова в пространстве мира-сумасшедшего дома обретает значение кульминации – ситуационной и мистической. Бродским актуализируется центральное событие сквозного библейского мотива поэмы – мотива Страстной недели, жертвенного распятия (и будущего воскресения).

В библейском каноне Пасха знаменует воскресение Христа, которое, как помним, происходит на *третий* день после распятия. Этот рубежный день Страстной недели и даже более – земной жизни Иисуса – аллюзийно приходится на последнюю ночь текстового пространства поэмы.

Исследователи спорят, каков финал поэмы: Горчаков спит, как полагают сопалатники, или герой умер? К. Проффер: «Поэма кончается сценой, в которой Горчаков сидит рядом с Горбуновым, воображая, что Горбунову снится море, и обещая сохранить его сон <...>» [22, с. 134]. При этом Проффер тут же дополняет: «Впрочем, будет правомочно интерпретировать конец поэмы и как смерть Горбунова, а не как сон» [22, с. 134]. В этом смысле, с нашей точки зрения, смерть героя предоставляет более широкую вариативность для интерпретации, т.к. смерть в представлении Бродского никогда не знаменует конец, скорее нечто продолжающееся, нечто длящееся *после*.

Однако в отличие от канонического евангелия (евангелий) у Бродского не Бог, но божественная сущность Слова становится условием преображения (воскресения) одного и обновления другого героя. А «совершенно замечательная парадигма» христианства, которой пользуется поэт, «вполне приложима» к ситуации: «Это тоже архетипическ<ая> ситуаци<я>, котор<ая> как бы расширя<ет> понятия» [5, с. 574]. Причем Бродский не соблюдает хронологию библейских событий, легко смещает образы Нового Завета и Ветхого: рядом с новозаветным Иисусом появляется ветхозаветный Моисей, проводящий евреев по расступившемуся морю (напомним, что отделение воды от суши происходит тоже на 3-й день). Отсюда видение Горчакова: «И ты бредешь сквозь волны коридором... / И рыбы молча смотрят из дверей... / Я – за тобой... но тотчас перед взором / всплывают мириады пузырей...» [6, с. 288]. Если образ Горбунова соотносится с мотивами жертвенного Иисуса, претерпевающего страсти (и в приближении к нему Моисея, обретшего священные заповеди Господа), то Горчаков удостоивается сравнения с иудейским богом смерти – «И сам он вездесущ, как *Иегова*...» [6, с. 274], в пространстве поэмы осуществляя начертанное ему свыше предназначение, отправляя Горбунова в сон и становясь его вечным стражем. Но в любой системе «заветов» статус Горчакова – статус ученика.

Подводя некоторые итоги, следует вспомнить слова К. Проффера: «...оказывается невозможно “истолковать” поэму, сказать, что Бродский “ставит такой-то вопрос и так-то на него отвечает” <...>» [22, с. 136]. Действительно, поэма необычайно сложна и предполагает множественность смыслов, исследовательских взглядов, научных интерпретаций. Между тем в ходе нашего исследования самым существенным наблюдением оказывается то, что герои поэмы Бродского Горбунов и Горчаков – не антагонисты, не противники-оппоненты, как традиционно считает критика, но наоборот – герои протагонисты, герои-соратники, герои-единомышленники. Мефистофелевская роль Горчакова, роль искусителя и соблазнителя, акцентированная на первом этапе общения героев (условная первая часть поэмы, первый день), на основе Божественного Глагола (Слова) во второй части порожд-

дает сомнение и колебание в душе героя-трикстера, а в третьей (условной части) – уверенно переводит его в статус ученика, последователя и преемника.

При этом важным обстоятельством оказывается то, что действие поэмы «Горбунов и Горчаков» погружается Бродским в пространство Петербурга (тогда официально Ленинграда, но для Бродского – неизменно Петербурга). Мистические линии поэмы Бродского подхватывают мистерии и фантазмагорию Пушкина («Медный всадник»), Гоголя («Петербургские повести»), Достоевского («Белые ночи», «Преступление и наказание»), Блока («Балаганчик», «Двенадцать») и др. «Петербургский текст» Бродского прирастает аллюзиями классических петербургских мистерий, с их преображениями, волшебными трансформациями, неожиданными явлениями и таинственными исчезновениями и проч. Локация действия поэмы в пределах сумасшедшего дома аккумулирует «петербургский» потенциал мистического текста, актуализируя традиционные для «петербургского текста» мотивы сумасшествия, бреда, умопомрачения. Но Бродский существенно дополняет «петербургский текст», осеняя его перспективами библейского текста, мотивами и аллюзиями Священной книги, поднимая уровень восприятия и осмысления «петербургского текста» на более высокий уровень, придавая ему черты поэтической глобальности и всемирности.

Примечания:

1. В свете подобных размышлений ближайшим интертекстом «Горбунова и Горчакова» оказывается современный Бродскому роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» [7], который именно в то время впервые появился в журнале «Москва» (1966, № 11; 1967, № 1) и в тексте которого легко вычленима сопоставимая пара героев: Мастер и Иван Бездомный, учитель и ученик, познакомившиеся в Москве в (псих)больнице Склифосовского.

Литература и источники

1. *Анциферов, Н. П.* Душа Петербурга. Л.: Лира, 1990. – 249 с.
2. *Ахапкин, Д.* Иосиф Бродский после России: комментарии к стихам, 1972–1996. СПб.: Журнал «Звезда», 2009. – 131 с.

3. *Богданова, О. В.* «Петербургский подтекст» Иосифа Бродского. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2012. – 26 с.
4. *Богданова, О. В.* «Петербургский текст» Бродского-эссеиста // Профессия: литератор. Год рождения: 1940. Колл. монография. Елец: Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2021. – С. 50–58.
5. *Бродский, И.* Книга интервью / сост. В. Полухина. Изд. 3-е, расш., испр. и доп. М.: Захаров, 2005. – 783 с.
6. *Бродский, И.* Сочинения Иосифа Бродского. СПб.: Пушкинский фонд, 1998. 2-е изд. Т. II. – 440 с.
7. *Булгаков, М.* Мастер и Маргарита // Москва. 1966. № 11. С. 6–149; 1967. № 1. – С. 56–144.
8. *Волков, С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998. – 327 с.
9. *Гельфонд, М. М.* «Петербургские повести» Гоголя в поэзии Бродского // Вестник Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 2 (2). – С. 120–124.
10. *Гордин, Я.* Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел. О судьбе Иосифа Бродского. М.: Время, 2010. – 256 с.
11. *Джулиани, Р.* «Поговорим о Риме»: Николай Гоголь и Иосиф Бродский // Toronto Slavic Quarterly. 2009. № 30. URL: <http://www.utoronto.ca/tsq/30/index30.shtml> (дата обращения: 25.02.2022)
12. *Карасева, А. С.* «Пошли мне небожителя...»: тема двойника у Бродского и Достоевского // Вестник Ленинградского государственного ун-та им. А. С. Пушкина. 2011. № 1 – С. 48–53.
13. *Клейман, Р.* Достоевский и Бродский: встреча гениев в беспредельности // Достоевский и русское зарубежье XX века / под ред. У. Шмида. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. С. 260–279.
14. *Куллэ, В.* Поэтическая эволюция Иосифа Бродского в России (1957–1972). Дис. ... канд. филол. наук. 10.01.01. – русская литература. М., 1996. URL: <http://www.liter.net/=Kulle/evolution.htm> (дата обращения: 25.02.2022)
15. *Лосев, Л.* Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии. М.: Молодая гвардия, 2008. – 446 с.
16. *Лотман, Ю. М.* Культура и взрыв. М.: Прогресс: Гнозис, 1992. – 270 с.
17. Петербургский дискурс: юбил. сб. в честь проф. Д. М. Поцепни. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2013. – 239 с.
18. Петербургский текст в русской литературе XX века: мат-лы XXXI Всерос. НМК. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2002. Ч. I и II.

19. *Плеханова, И. И.* Преображение трагического: метафизическая мистерия Иосифа Бродского. Дис. ... докт. филол. наук. 10.01.01 – русская литература. Иркутск, 2002. 429 с.

20. *Полухина, В.* Больше себя самого. О Бродском. Томск: ИД СК-С, 2009. – 416 с.

21. *Полухина, В.* Иосиф Бродский глазами современников: в 2 кн. Изд. 2-е. СПб.: Журнал «Звезда», 2006.

22. *Проффер, К.* Остановка в сумасшедшем доме: поэма Бродского «Горбунов и Горчаков» // Поэтика Бродского / под ред. Л. Лосева. Tenafly, New Jersey: Эрмитаж, 1986. – С. 132–140.

23. *Романова, И. В.* «Я попытаюсь вас увлечь игрой...»: взаимодействие коммуникативных моделей в поэме-мистерии И. Бродского «Шествие» // Вестник ВГУ Сер. Филология. Журналистика. 2010. № 2. – С. 99–106.

24. Существует ли петербургский текст?: сб. ст. / под ред. В. М. Марковича, В. Шмида. Вып. 4. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. – 404 с.

25. *Топоров, В. Н.* Петербургский текст русской литературы: избр. тр. / ред. Н. Г. Николук. СПб.: Искусство-СПБ, 2003. – 612 с.

26. *Топоров, В. Н.* Семантика мифологических представлений о грибах // Balkanica: лингвистические исследования / отв. ред. Т. В. Цивьян. М.: Наука, 1979. – С. 234–297.

27. *Шекспир, В.* Собрание избранных произведений: в 5 т. СПб.: Terra Fantastica, КЭМ, 1992. Т. I. Трагическая история о Гамлете, принце Датском. – 448 с.

28. *Ян, Сяоди.* Страх и абсурд бытия: о поэме И. А. Бродского «Горбунов и Горчаков» // XX Свято-Троицкие международные ежегодные академические чтения, Санкт-Петербург, 28–30 мая 2019 г. / под ред. О. В. Богдановой. СПб.: РХГА, 2019. – С. 409–413.